Алла Татарикова-Карпенко

ЯРЦАГУМБА

Главы из романа

ВЕНТСПИЛС

Радоваться жизни, когда голова кружится от недосыпа (двенадцать часов ночного и раннеутреннего пути, восемь из них – до Риги, по которой – галопом и фотографируя – полчаса до следующего автобуса, на нем уже – до места) и, того гляди, посеешь на рынке кошелек, помогая отцу грести яблоки, кабачки, плоский инжироподобный лук, цветную капусту, парное мясо – щедрый урожай окрестных хуторов, и потом – в окна бывшей ратуши, а теперь гостевого Дома писателей – чистота и слаженность звуков оркестра, репетирующего вечернюю программу по случаю Праздника города и Фестиваля цветочных ковров, разбросанных вдоль всего променада латвийского портового городка. Пара часов дневного сна под арии из «Травиаты» и «Дон Жуана» с площади (отец рассказал потом о музыке подробно: «в твои четырнадцать пора начинать разбираться»), сна морочного, булькотного, жаркого, – не способны восстановить силы, а только приводят мозг в окончательно восторженное замешательство. Потом обед и гуляние по паркам, набитым цветами и фонтанами, и кубовидными кронами деревьев – произведениями флоро-парикмахеров, потом несвоевременный чай с булочками и жаркая ночь на сквозняке, танцующем меж двумя распахнутыми – одно на площадь, мощеную старым камнем, другое, с угла, – на улицу, разглаженную современными плитками, как весь городок, безызъянно, тщательно, каждый метр вдоль реки до моря, меж рядов одно-двухэтажных строений, над которыми трудятся зимами ветер и влага, покрывая живописью пятен крашеные сыпучие панели.

Между чаем и сном – за окном на площади окончание выступления странствующего актера: молодой тощий факир с голым торсом в неправильном, «сельском», загаре, что оставляет серыми и несчастными грудь и живот, но подцвечивает руки и шею, с синими асимметричными крылышками татуировки в виде тщедушного дракона, летящего в свой домик на горе по бледным лопаткам; в выцветших, когда-то цветастых хлопчатобумажных лосинах по колено, в черных носках и черных запыленных туфлях, тяжелых для такой жары, не замечая своей нелепости и нечистоты, смотал на локоть длинный зелёный шнур, раскидываемый по кругу, с целью отделить игровое пространство от толпы, собрал какие-то металлические предметы и шпагу, которую за несколько минут до этого усердно проглатывал,

погружал внутрь голодного организма и возвращал миру, вызывая аплодисменты, свернул вдесятеро совсем тонкий синтетический коврик для гимнастических экзерсисов, аккуратно разместил часть реквизита в футляре от мандолины рядом с некоторым количеством набросанных зеваками монет, откинул спутанную и влажную от пота русую челку и зашагал прочь.

Ночь спешила погрузить в себя арки, и черепицу, и брусчатку, и ряды слепых домов с затянутыми пленкой или прилежно забитыми досками проемами окон, вопреки гомону не желающего спать в праздничный вечер молодняка. Ночь требовала полного повиновения, по-стариковски рано затемняя и опустошая улицы.

К утру сцена, где блистал вчера оркестр, исчезла, растворилась в площадном солнцепеке, освободив место для лотков с книгами и сувенирами, но и эти декорации слизала жара часам к пяти, когда, побродив по променаду и напустив полный воздух пузырчатых радуг, ушагали и укатили прочь голенастые клоуны-ходулянты и жонглеры на высоченных трехколесных (два маленьких, одно гигантское) велосипедах.

Минуя внешние колонны, шурша подошвами в унисон с семенящими на вечернюю службу прихожанами, мальчик проник в нутро церкви, белое и голое, присел с краю на больнично поблескивающую скамью, рассмотрел таблички с цифрами на стенах – 364, 211, 314... (позже отец объяснит ему, что цифры обозначают порядок песнопений для определенных служб, и что помощники лютеранского священника по необходимости заменяют их на другие – «как же ты, четырнадцатилетний парень, не знаешь всем известного!») и единственное живописное полотно, демонстрирующее Христа с огромным бледным торсом, короткой шеей и крошечной головой в мокрых локонах на фоне колоссальной дымно-синей планеты. Это напомнило ему почему-то апокалиптичные кадры финала фонтриеровой «Меланхолии», которую во время пути продемонстрировал ему на своем планшете отец. Но скоро он рассмотрел, что Иисус изображен не впереди рыхлого круга, а входящим в округлую арку пещеры, что создавало определенную иллюзию. Однако вплывал Спаситель в объем не равномерно всем телом, а в первую очередь – широкими чреслами и грудной клеткой, запаздывая головой и нимбом. Мощные ноги Предвечного, мускулистые, голубоватые, тоже были выписаны художником подробно, с усердием, со вниманием к жилкам и мышцам. Лица же мальчик, сколь ни старался, никак не мог разглядеть, так удаленно, будто на третьем плане, было оно расположено.

Прихожане глянули на таблички, размеренно распределенные по известковым стенам, раскрыли свои книжечки, нашли нужные цифры, вдохнули белого воздуха и объединились в ахроматический хор.

Следующим вечером городок окончательно продемонстрировал свою ревность к людям: улицы хвастались пустынностью и нежеланием впускать в себя прохожих. Правда, иногда в тупичке переулка промелькивала детская коляска и потом каблук исчезающей женской туфли, и это казалось нелепым, неуместным дополнением к пустоте и стерильности мостовых. Где-то истошно раскричался котенок. Мальчик вышел через арку за каменную ограду: невысоко неприятно крупная чайка взмахивала крыльями, сопровождая каждое движение псевдокошачьим воплем. Другая, серая, еще большего размера, растянула бледные перепонки по булыжнику, и столь же безапелляционно, громко и настойчиво, как первая, рокотала голосом, похожим на лягушачий. Мальчик сделал неширокий

круг по совершенно безлюдным в этот совсем не поздний час переулкам, утвердился в своем ощущении, что этому городу люди не нужны, что они здесь – нечто лишнее, нежелательное, вернулся на ужин и долго слушал медленную речь тщательно прожевывающего телятину отца, который говорил в этот раз о DER GELBE KLANG, произведении Альфреда Шнитке для инструментального ансамбля, хора и солистки «Желтый звук».

– Первое исполнение сего опуса состоялось во Франции, а в СССР лишь через десять лет. Балет, вернее, пластический спектакль, не слишком отвечающий замыслу либретто, поставил Гедрюс Мацкявичус. Читал о таком? Режиссер, любопытная личность, эстетический эпатёр, человек с изломом... Идея «Желтого звука» принадлежит Василию Кандинскому, художнику-авангардисту, – знаешь о таком? – который мечтал о театральном синтезе. Мацкявичус вывел на сцену некий сюжет, хотя у Кандинского ни о каком сюжете речи быть не могло. У него – какофония смыслов. Кандинский – проповедник абстракции! Зря Мацкявичус со своей не совсем профессиональной труппой замахнулся на освоение музыки великана. Да, Шнитке – тот самый великан Кандинского, который в финале является, то есть являет себя, колоссальным крестом. Да... Кандинский имел не только художественное, но и музыкальное образование. И Шнитке гениально его услышал. Сложная музыка, сонорные звучания, – знаешь, что имеется в виду? – группы из множества звуков, образующих нечто близкое к аккорду, но не в классическом его понимании, а... звуковой комплекс, кластер. Да... Музыкальная ткань, сначала довольно четкая, постепенно теряет определенность, растекается, холодеет, но затем возникает теплое, облагораживающее меццо-сопрано с внятной мелодикой, – отец наслаждался своей речью, мелодекламировал, как бы пропевая, усиливая отдельные слова. – Однако с его исчезновением звуковое пространство саморазрушается, и возвращается лишь в финале к определенности и замиранию в тишине. Но ты, наверное, вообще ничего не слушал у Шнитке... – Это уже был не вопрос, но расплывчатое утверждение, потому взгляд отца проскользнул мимо глаз сына, оставшись безучастным. Задавая же вопросы по ходу своего размышления вслух, отец кратко делал пренебрежительное лицо, приподнимал брови, взгляд его на секунды становился жестким.

Мальчик слушал, однако интерес его был направлен не к произведению, о котором говорил отец, но к самому отцу, в очередной раз удивляющему сына разнообразием и глубиной своих знаний, нынче – в современной музыке, теме, далекой от мальчика и загадочной. Сын все-таки пытался вслушиваться в термины и одновременно следил, как отец отсекает острым ножичком от куска телятины маленькие сегменты и, подробно оглядев каждый, отправляет в рот, чтобы сделать множество жевательных движений, прежде чем проглотить разжеванное. Говорящий и одновременно жующий не обращал внимания на то, что сын почти не ест, будто не желая снизить важность ситуации, будто боясь опошлить ее низменным действием. То, что отец одновременно наслаждался своими размышлениями вслух и поеданием мяса, было вполне органично, выглядело не только допустимо, но и достойно. Но жевать в это время самому ему казалось фамильярностью, неуважением к теме и к отцу.

После ужина вышли на воздух. Лилии резко усилили благоухание и заполнили им дворик с качающимся среди горьких флоксов мягким диванчиком, в котором разместился отец напротив клетчатых окон и всегда распластанных по старин-

ным стенам ставень. Мальчик стоял неподалеку и ждал, когда отец насладится качелями и решит, что пора спать.

Поднялись в номер, по очереди приняли душ, улеглись в огромную постель, предназначенную для семейных пар. Накрылись каждый своим пододеяльником, по причине жары и духоты пустым, без одеяла внутри. Отец скоро задышал глубоко и шумно, мальчик скатился с массивного ложа, потом по крутой лестнице в столовую и через нее вышел во дворик. Маленький город размяк, готовый заснуть. Ратушная площадь уже простодушно всхрапывала, не слыша ленивый и сбивчивый отсчет церковных часов. Ночь требовала полного повиновения, опять стараясь, согласно провинциальной традиции, пораньше затемнить улицы. Но лето сопротивлялось: небо на западе оставалось светлым. Короткий мощеный путь мимо очередных оставленных хозяевами нежилых домов, и впереди река, вчера еще отгороженная праздничными торговыми рядами, а теперь – широко открытая взору, и чуть правее – неожиданно, монументально – нечто невероятное в своей мощи, похожее на многоэтажное здание, белое, как лютеранская церковь, чужое. Корабль! STENA FLAVIA – прочитал мальчик. И ниже – LONDON.

Как мог этот великан войти в русло реки? Неужели она такая широкая? Чтобы оглядеть судно, надо было закинуть голову, тогда в поле зрения попали люди, которые перемещались по палубам на разных этажах, скользили вверх-вниз по ступеням открытых лестниц с перилами: маленькие, подвижные фигурки в похожем на игрушку для великанов шести- или семиэтажном заводном механизме.

Мальчику пришлось довольно долго идти вдоль белого массива, и, наконец, открылось нечто еще более удивительное – торцовая часть корабля оказалась распахнутой и переходила в огромную погрузочную платформу, чудесным образом соединенную с береговой площадью, по которой в эту минуту двигался двухъярусный бус. Желтый, яркий, он, поблескивая в свете уличных фонарей мытыми боками и двумя рядами стекол, миновал дежурных в форменной одежде, занятых беседой, и торжественно въехал в разверстое нутро судна. Мальчик в воображении своем проник в автобус, почувствовал себя там, в полутьме, среди обтянутых велюром комфортабельных кресел, прошел в дальний конец и прилег в глубокое заднее сиденье, приник к высокой спинке; сердце разрывало грудь, то гудело церковным колоколом, то кричало чайкой и падало ниже пяток в пустоту, в космос, где замирало, обращаясь кристаллом, сияло и жгло; тело сжалось сухим комочком и так, тайным пассажиром, въехал он в брюхо корабля, и дождался отплытия, и пустился в путь.

Здесь, на берегу, его отделяла от транспортного настила крашеная зеленым решетка, что тянулась и тянулась куда-то в ночь и ломала пространство, которое он никак не мог осознать: где кончается берег и начинается настил, и как все это будет выглядеть днем, когда судно уйдет?

– Пришел паром из Германии, – скажут утром.

– Да, Грета на нем прибыла, из Травемюнде. Грета Люфт, переводчица драматургии с русского на немецкий.

– А когда этот паром отплывает назад в... Траве... мюнде? – спросит мальчик.

– Судно не отплывает, отходит! – отрежет отец. – Поезда отправляются, самолеты вылетают, корабли отходят! В твоем возрасте надо это знать.

Беседа за чаем после посещения группой писателей и переводчиков Ливонского замка конца XIII века завилась сначала вокруг самого строения:

– Башня невысока, но служила маяком. А я всегда считала, маяк должен быть очень высоким. Как и пожарная каланча в городе. – Грета поглядывала на отца, обращая вопросы именно к нему, будто заведомо было решено, что он разбирается в теме лучше других. – И в каком веке Вентспилс стал портом? Порт Ливонцы строили? Крестоносцы?

Отец заговорил, будто не слыша вопросов:

– Ливонцы... Орден возник в тысяча двести... тридцать восьмом, если не ошибаюсь, собран из остатков Меченосцев Ливонским ландмайстером, и прекратил свое существование в... шестидесятых годах шестнадцатого века в результате ряда поражений, нанесенных войсками Ивана Грозного в ходе Ливонской войны. Да и ливонцы были подразделением Тевтонского ордена.

Казалось, он прочитал все это с какого-то экрана, невидимого остальным, как читают текст с монитора над камерой дикторы телевидения. Мальчик в восторге и торжестве оглядел компанию. Это его отец – блестящий знаток истории. Он, его сын, находясь здесь, среди людей, внимающих его отцу, может наслаждаться абсолютными его, а значит и своими победами. Ведь он причастен к этим победам! Как самый близкий человек, как единственный сын, как будущий продолжатель... Высокий всхлип исторгся из горла мальчика, он притворно закашлялся, пытаясь исправить мгновенье.

– Почему в России Орден германских рыцарей называют Тевтонским?! У нас говорят Орден Германских Рыцарей, и все! – поспешила загладить неловкость Грета, специально надавливая на каждое слово.

– Тевтоны – общее название древнегерманских народов, – звучало по-прежнему безучастно. – Вам, немке, Грета, это должно быть известно.

Грета улыбнулась, продемонстрировав, что вовсе не обиделась, и продолжила, вновь обращаясь к эрудиту, явно стараясь удержать его внимание.

– Так что о Тевтонах?.. Или Тевтонцах – как правильнее по-русски?

– Ну, орден вообще-то не очень интересный. Что, например, известно о занятиях Тевтонцев магией или алхимией? А вот Тамплиеры, – попытался перелить беседу в иное русло владелец богатой шевелюры и пока еще опрятного, очень круглого брюшка, поглядывая то на одну юную особу в блеклом платьице, то на трех других, со столь же блеклыми личиками.

– Вообще средневековая Европа, конечно, славна своими познаниями в колдовских делах.

Будто отвечая кому-то иному, через губу, нехотя, отец продолжал:

– В колдовских делах? Терминология сказочных историй. Да и в этом страны юной религии преуспели больше Европы. Впрочем, где грань между ученостью и сказкой?

Отец не смотрел в сторону собеседника.

– Тевтонцам или Тамплиерам? – старался продемонстрировать свою значимость седовласый, имени которого не знали ни сын, ни отец, а может быть, и другие постояльцы, кроме четырех постоянно его сопровождавших длиннотелых девиц, похожих, как казалось мальчику, на сваренные макароны.

Ответа не последовало. Отец продолжал, и речь его походила более на лекцию, чем на ни к чему не обязывающую болтовню за чаем:

– Средневековая культура Арабского Востока сохранила и передала в будущее многие научные достижения античности. Видите ли, их территории в период раннего средневековья колоссальны: Палестина, Сирия, Месопотамия, Египет и Иран, Пиренейский полуостров, Закавказье и Средняя Азия до границ Индии. Богатые города на всей этой территории становились центрами учености.

Барышни переглядывались и неопределенно подергивали губами. Глядя по сторонам, дула в горячую чашку Грета. Встретившись глазами с отцом, вдруг защебетала:

– Ах, какую интересную тему мы затронули! – губы Греты кокетливо складывались трубочкой на каждом «о» и «у». – Да, и крестоносцы, в частности тамплиеры... все-таки, скорее всего, они привезли в Европу эту тему, не могли же они во время крестовых походов пройти мимо алхимических поисков восточных ученых!

Седовласый просительно глянул на блеклую барышню, протягивая ей пустую чашку.

– Кипяток закончился, – пропела та.

Седовласый поднялся и заговорил специальным шепотом:

– Пойдемте, организуем еще чаю, никому не мешая.

Под этим благовидным предлогом квинтет удалился в кухонный отсек, а оттуда – прочь.

– Утверждения о занятиях алхимией среди тамплиеров связаны с политическим процессом, который устроил испанский король Филипп IV. Предположительно, он желал завладеть деньгами монахов-ростовщиков. Всем известно, что именно тамплиеры, «нищие рыцари», основали банковское дело, стали первыми банкирами, – не обращая никакого внимания на перемещения и посмеиваясь, продолжал, будто по писанному, оратор. – Король обвинил храмовников в ереси, устроил образцово-показательное судилище, потребовал пытать, казнить, и в результате разогнал и запретил орден. Но никаких существенных данных о том, что кто-то из тамплиеров специально занимался алхимией, нет. Достаточным знанием языка крестоносцы не обладали, тем более если речь шла о сложных философско-теургических текстах, ведь алхимия и астрология позиционировались как высокое философское знание, а не как псевдонаука. Нет, тамплиеры не имеют никакого отношения к переносу алхимической литературы на средневековый Запад.

– Ну, при чем здесь литература?! Может, они учились у магов... на практических опытах, – с сильным латышским акцентом произнес миловидный молодой человек лет двадцати, сидевший за столом напротив мальчика.

– И как Вы себе это представляете? – парировал отец, – Общение же должно было как-то осуществляться, глубокие знания языка, специфических терминов были необходимы. А их не было. Откуда? Шли пилигримы, воевали, терпели нужду, лишения, гибли. Ну, какие-то бытовые, обиходные фразы цепляли, разумеется, но не более того. Нет, крестовые походы существенной роли здесь не сыграли. Алхимия, вкупе с астрологией, физиогномикой, прочими «науками», с огромным корпусом философских текстов была перенесена на Запад в «великую эпоху переводов» через Южную Италию и Испанию, – блистал эрудицией отец. – Об этом можно почитать уйму литературы, но, к сожалению, практически ничего по-русски. На французском, английском – пожалуйста. На немецком тоже, – кивнул он в сторону Греты.

– Эпоха переводов? – будто удивился молодой человек.

Мальчик нахмурился, ему казались неучтивыми по отношению к знатоку и к тому же пустыми замечания молодого человека.

Отец продолжал:

– Да, кстати, никто из представителей других орденов алхимией также не увлекся, и было бы странно предположить, что алхимией могли увлечься только храмовники, а госпитальеры бы, например, полностью ее проигнорировали. Так что «злоупотребления» тамплиеров – миф, созданный пропагандой Филиппа Красивого для того, чтобы, опорочив их, обвинив во всех грехах, включая, возможно, поиск философского камня, получить нужное короне золото. Впрочем, мне не известно ничего о существовании текстов, в которых тамплиерам вменялась бы эта вина.

– Для меня все это не доводы. Какой-то дым без огня получается, – продолжал упорствовать молодой латыш.

– Ну, для некоторых ничто не является доводом. Вы, молодой человек, просто Фома неверующий, – произнесла Грета почти без акцента, демонстрируя незаурядное умение грамотно строить фразу.

– «Настоящая» алхимия – это переводы авторитетных арабских текстов на латынь. К тому же за сотню лет до падения тамплиеров, то есть в начале XIII века, об алхимии написали уже собственные трактаты европейцы – немец Альберт Великий и Роджер Бэкон, английский философ, – то есть люди, в интеллектуальном отношении куда более глубокие, чем тамплиеры.

– Но, вот мне всё же кажется... ну, как-то напрашивается вопрос: что здесь противоречит тому, что тамплиеры-розенкрейцеры владели особыми знаниями? – все еще пыталась заглянуть в глаза оратору Грета.

– Во-первых, нельзя смешивать тамплиеров с розенкрейцерами и масонами, – оставался невозмутимым отец. – Тамплиеры были всего лишь одним из монашеских орденов. Розенкрейцеры и масоны же своего рода носители тайных, мистических знаний, в основе которых множество действительно магических, герметических элементов. Им известно намного больше источников, чем монахам средневековья.

– Но ведь есть мнение, что именно уцелевшие тамплиеры учредили впоследствии орден Розы и Креста. Вот отсюда и преемственность знаний. Тамплиеры наверняка владели тайной. Благодаря этому и стали наиболее богатым орденом, таким богатым, что король решил их уничтожить, чтобы присвоить себе их накопления. Тут есть над чем подумать, – начинала нервничать Грета, но мальчик в очередной раз отметил, что она говорит по-русски так, словно прожила в России долгие годы.

– Дело всего лишь в том, что миф о тамплиерах хорошо продается. А вообще этот пресловутый списочек – храмовники, Христиан Розенкрейц, Джон Ди, Парацельс, Сен-Жермен... ну, в зубах же навязло, друзья!

– Нисколько не спорю. И позволю себе прибавить, что не следует забывать и о дервишах. Нищие суфии слывут... и есть источники, в которых за ними утверждаются магические умения, – низко прозвучал голос человека неопределенного возраста с длинными редеющими волосами, собранными на затылке в косицу, до этого молча занимавшего кресло в углу. – Адепты сего мистического течения учили, что путем самоотречения и аскетических подвигов человек может добиться непосредственного общения с Богом.

– Ну да, путем верчения юлой, – продемонстрировал знания молодой латыш.

Обладатель мягкого баса сделал паузу, глянул на европейца и с улыбкой продолжил:

– Густав Лебон в своей «Истории арабской цивилизации» – она есть, кстати, в переводе на русский, доказывает почти исключительную роль арабской культуры в просвещении полуварварской средневековой Европы. Да, как ни удивительно звучит это для кого-то, по его мнению, именно арабам обязана она своим расцветом. Во времена Фирдоуси, Авиценны, Хайяма европейские рыцари часто не владели элементарным чтением и письмом. Монахи, считавшиеся просвещенными, занимались в монастырях переписыванием на латыни богословских текстов, не более. И тут пошел арабский интеллектуальный транзит через Испанию, Сицилию, юг Италии, позднее через торговые связи с Венецией и Генуей. Вот она, «эпоха великих переводов». В арабском Толедо была, наконец, организована коллегия по масштабному переводу восточных трудов на латынь. С этим трудно спорить. И, кстати, о Розенкрейцерах: в конце XVIII века ими были учреждены новые ответвления организации, одно из них – Орден Азиатских Братьев, созданный представителями Семи церквей в Азии. В этот Орден впервые были приглашены мусульмане и иудеи.

– Смелые утверждения. Но мы отвлеклись от алхимии, – недовольно вставил молодой человек.

– Нам пора, – резко поднялся и одновременно приподнял за локоть мальчика отец.

– Но, может быть, юноше интересно послушать дальше? – бас звучал мягко и уверенно.

Отец оставил вопрос без ответа и, пропуская сына впереди себя, холодно попрощался и покинул компанию.

– Тебе нечего было делать за столом сегодня. Сначала надо научиться читать научные труды и запоминать из них хоть что-то, а потом позволять себе слушать беседы подкованных в теме взрослых людей. Не устаю поражаться стойкости генетических промахов. Ты не развиваешься. Ты ничего не взял от меня, зато все от своей покойной матери. Всё, включая женственность! Посмотри на себя, ты, взрослый парень, похож, скорее, на кисейную барышню, чем на мужчину. Где мышцы? Хорошо, не качаешь мускулы, тренируй мозги! Так нет же, твои знания равны нулю! Абсолютному нулю! Что ты по-настоящему знаешь из истории, из естествознания, из философии? Ни-че-го!

Мальчик молчал, как уже привык в такие минуты. Отец распалялся, бледнел, растворялся, и цвет его серо-голубых глаз становился все более светлым, тускнея и размываясь. Его почти белые губы кривились в очертаниях обидных, больных слов, которых с определенного момента мальчик уже не слышал. Он только видел движения рта, потерявшего звук, немые корчи, которые желал прекратить и для того закрыл глаза.

Отец не позвал никого на помощь, как и не обратился позже к врачу. Он перетащил легкое тело на постель, побрызгал водой лицо, дождался, когда мальчик оправится, и спросил:

– В интернате с тобой такое часто бывало? Почему меня не предупредили об этом? Почему ты сам молчал?

Мальчик хотел было сказать правду, что такое с ним впервые, что прежде он не испытывал ни таких надежд, ни такого страха, и потому для обмороков в его

привычной подростковой жизни не было поводов, но что он больше всего на свете не желает возвращаться в эту свою бывшую безмятежную, но лишенную обретенной теперь любви жизнь. Ему хотелось броситься к отцу на шею, закричать, как невыразимо много тот для него значит, как важно, как необходимо ему все, что связано теперь в его жизни с отцом, как не может он себе представить теперь себя без этого удивительного, невероятного человека. Он хотел просить прощения за свой дурацкий, предательский обморок, обещать, что этого больше никогда не повторится, как бы строг и даже резок по отношению к нему ни был отец. Но ему показалось это неуместным, и он лишь пожал плечами, поднимаясь на ноги.

В один из дней на причале возник синий паром по имени Scotish Viking, показавшийся мальчику ниже и проще того, ночного, волшебного, белого. Он рассмотрел перекидной настил, по которому двигались внутрь «Викинга» трейлеры, и мощный трос, зацепившийся за чугунный кнехт, и площадь, где стояли в очереди на погрузку остальные фуры... При дневном свете все было просто, понятно и вызывало грусть. Берлинка Грета подробно рассказала мальчику утром о двух паромах, что заходят в местный порт, и о том, что в свое время она четырнадцать лет жила в Ленинграде, была замужем за русским бизнесменом, но потом они почему-то расстались, и она вернулась в Германию к своим взрослым уже дочерям от первого брака. Поведала она все это, не вытягивая в пикантную трубочку губы на каждом «о» и «у», как это делала при отце. Она торопливо угощала подопечного пирожным и персиком, поглядывая на входную дверь, боясь, видимо, не успеть до прихода отца пригласить мальчика к обеду на свой фирменный суп.

– Я передам ваше приглашение папе. Спасибо.

– Да, да, конечно, папе... Но я уж и не знаю, примет ли он мое приглашение... Твой папа – такой... самодостаточный человек, такой... глубокий, и... красивый. Да, красивый. Но мне кажется, он равнодушен к чьему-либо обществу, во всяком случае, к моему, – расстроилась, поняв свою оплошность, Грета.

Теперь мальчик торопился к обеду, потому что Грета успела пригласить на суп и салат отца, тот согласился, и все уладилось. За столом она весело хозяйничала, играла глазами и что-то щебетала о мечтанном путешествии в Италию.

– Раз собираетесь в Рим, еще один шедевр Возрождения необходимо увидеть обязательно: в церкви Сан-Агостиньо, – медленно неся ложку с небольшим количеством супа ко рту, вещал отец. – Многие заходят в эту церковь, чтобы посмотреть «Мадонну пилигримов» Караваджо, более глубокие зрители смотрят, конечно, и Рафаэлевского «Пророка Илию»: шедевр размещен прямо над скульптурой Мадонны с младенцем и святой Анной работы Сансовино Андреа Контуччи. Он является учителем Якопо Татти, который впоследствии взял фамилию наставника и стал Якопо Сансовино. Так вот, именно весьма почитаемую в Риме скульптуру Якопо Сансовино, – отец нырнул голосом, педалируя на имени, – и надо посмотреть, что называется, живьем, так как на многочисленных фото в интернете невозможно передать мягкого сияния ее простоты. «Мадонна дель Парто»! – пустая ложка аккуратно вплыла в содержимое тарелки. – В народе популярна легенда, что Якопо Сансовино делал свою композицию с изображений матери Нерона Агриппины и самого Нерона в младенчестве, – ложка красиво, под нужным углом, вошла в рот и тут же вернулась пустой, – поэтому туристам прежде всего это и рассказывают, если вообще подводят к этому шедевру. Но это

всего лишь миф, которым развлекают профанов, а ценителей искусства поражает мастерство.

Глаза Греты, изначально пораженно распахнутые, направлены были теперь на мальчика, который, проглотив немного супа, сложил руки на коленях и внимательно слушал отца. Ей казалось, что мальчик старательно запоминает каждое его слово, будто ему предстоит сдавать важный и очень сложный экзамен.

Вопрос зрел в ней и вырвался тяжело и неуклюже:

– А ваш сын... он видел эту скульптуру? – Грета повернулась к мальчику. – Ты видел эту знаменитую Мадонну с младенцем?

– Мой сын рано лишился матери и воспитывался в специализированном интернате с углубленным изучением нескольких предметов, на который я возлагал много надежд, однако, – отец приостановился, приложил салфетку поочередно к уголкам губ, – я не совсем доволен... В честь его четырнадцатилетия я взял его с собой в эту поездку, в этот милый европейский городок... С чего-то надо начинать...

– Папа, я бы очень хотел увидеть Мадонну с младенцем.

Мальчик резким движением закрыл рот рукой. Но было поздно. Отец поднялся, медленно, будто стараясь делать это бесшумно, приподнял одной рукой стул, отставил его, выпрямился, поднял подбородок и молча покинул столовую. Лишь на секунду замешкался мальчик, чувствуя на себе пораженный взгляд Греты, и поспешил за ледяной спиной отца…

В своих апартаментах отец выкурил ароматную трубку, положив голые локти на широкий подоконник почти квадратного, распахнутого в сторону площади окна. Выпуская пушистые струи дыма, он рассматривал церковь святого Николая, пекущуюся на солнце необычно жаркого в Прибалтике лета, её портик с высокими колоннами, треугольник фронтона в классическом стиле и круглую башню, забранную деревянными рамами окон. Сын стоял у стены за спиной отца, чуть правее, и молча ждал назиданий. Он предполагал, что отец может сейчас взорваться, кричать, дойти до прямых оскорблений, но готов был вынести что угодно, только бы оставаться рядом, только бы ничего не менялось. Зной комфортно расположился внутри комнат, разлегся на трехступенчатом ложе, king-size-матрасе, что покоился на массивном постаменте еще и с небольшой приступочкой, зной разрастался и, казалось, потрескивал и дымился. Отцу не мешало это обстоятельство клубиться своими дымами, оставаясь сухим, в своей поджарости и неизменной личной прохладе. Сын любовался им, подтянутым и строгим.

Отец заговорил как-то внезапно, осадив жару, привнеся в нее сухой лед интонаций, который, погибая, завился новыми белыми пара́ми, но вскоре иссяк.

– Я бы хотел вернуться к разговору об алхимии. Нет-нет, не о рыцарских орденах, не об арабских истоках знаний, – все это болтология, высказывания дилетантов, гипотезы, не представляющие лично для меня никакого интереса. Я о другом. Вот, нашел книжицу на развале, репринтное издание, знаешь, на ловца и зверь бежит. Весьма, скажу тебе, интересно. Перевожу на ходу с французского: «Алхимическую эволюцию... можно выразить кратко формулой Solve el Coagula, что означает: анализируй... все элементы... в самом себе, раствори все... низменное в тебе, даже если при этом ты можешь погибнуть, а затем... концентрируйся с помощью энергии, полученной от предыдущей процедуры.» – отец переводил бегло, лишь изредка приостанавливаясь, но не произнося лишних э-э-э или м-м-м, как это делают в таких случаях другие. – Тебе понятно? Я продолжу.

«В дополнение к этой... своеобразной символике алхимию... можно рассматривать как образец всех других дел. Она показывает, что добродетели можно культивировать при любых, даже... простейших видах деятельности и что душа... укрепляется, а индивид развивается». Понимаешь ли ты? Возможно и необходимо «культивировать добродетели», то есть развиваться, совершенствоваться. И далее: «Наша работа представляет собой... трансформацию и... превращение одного существа в другое, одной вещи в другую, слабости в силу, телесной природы в духовную».

Было понятно, что отец не в первый раз переводит эту фразу, не в первый раз произносит ее, так уверенно и торжественно звучало утверждение.

– Конечно, каждый волен трактовать сие по-своему, но с тем, что речь идет об углублении и расширении знаний и умений, ты согласен?

Отец взглянул, наконец, на мальчика.

– Мне кажется, – решился тот ответить, – мне кажется…

Он запнулся, потому что монолог продолжился:

– Но у тебя есть перед глазами пример. Твой отец начинал с нуля. У него не было достойного примера. Всё сам. Всё трудом и прилежностью. Всё силой воли. Self-made-man. Ты хоть немного понимаешь по-английски?! Тебе известно это выражение? Теперь я знаток в разнообразных сферах, автор многих книг по культурологии... впрочем, о себе более ни слова. Сейчас речь о тебе. Я бы хотел направить тебя на четкий путь саморазвития, чтобы, когда ты вернешься в интернат, – мальчик замер, – когда ты вернешься в интернат, – повторил отец, – то есть уже через три недели, ты взялся за ум. Надо не просто хорошо учиться, необходимо каждую минуту тратить разумно. Если ты совершенно равнодушен к физическим занятиям, – мальчик открыл рот, чтобы защититься, сломать недобрый замысел, повернуть ситуацию вспять: рассказать, наконец, отцу об успехах в спортивной гимнастике, о своем тренере, о победах в соревнованиях, о математической олимпиаде, о переписке на английском, но опять не сумел, – ладно, не интересна тебе физическая культура, – все повышал голос отец, – развивайся исключительно интеллектуально. Но вот так попусту терять время! Я не понимаю! Хорошо еще, что у вас там доступ к компьютеру строго ограничен.

Далее мальчик опять почти уже не слышал отца. Не потому что не слушал, а потому что не мог слышать, как ни старался: подтверждение его страхов, потеря главной надежды, ощущение гибели смысла существования обратились в вой, в ропот, в гул, заполнивший его уши, голову, все его тело, превращенное теперь в мощный резонатор, приспособленный трудолюбиво усиливать звук, и казалось, этот грохот прорывается через поры его организма в комнату и распространяется дальше, сквозь стены – на площадь, в улицы, до реки, которая вынуждена нести его к морю. Этот полновесный вопль боли был поддержан криком чаек, надсадным, похожим теперь на лай мелких, многочисленных собак.

Потом наступила тишина.

Без семи минут девять каждое воскресенье городской звонарь поднимается на самый верх церкви святого Николая, в круглую башенку, хранящую внутри себя колокол, чей крепкий спокойный баритон пару веков неизменно поет для города, и распахивает окна на все стороны. Ставни стары, поскрипывают, белая краска отшелушивается под рукой. Звонарь прячет голову в круглые наушники

для предохранения от сильного звука и спускается несколькими пролетами ниже, к веревкам – продолжению колоколова языка.

В это утро в девять ноль-ноль мальчик шагнул в церковь и шмыгнул направо к лестнице. Кто-то из прихожан глянул ему вслед, но не обеспокоился, решив, что это сын звонаря. Как ни торопился, мальчик задержался на ступеньках, сосредоточил внимание на изображении Христа в противоположном конце, силясь рассмотреть черты лица Спасителя, но так и не сумел этого сделать, – Иисус запрокинул мокрые кудри, только сизые грудь и бедра опять поразили объемностью. Считая удары колокола, мальчик двигался ближе к гудению, тяжелому, бесконечному. Казалось, он уже насчитал 100 ударов, но все еще продолжая подъем, боковым зрением схватил, теперь уже ниже себя, звонаря в наушниках. Тот в слепом упоении качал язык колокола, мотался, слившись с ним через веревку всем сухим, жилистым организмом. Мальчик приостановился на миг, вдохнул переполненного звуком воздуха, двинулся выше. На последней площадке перегнулся через перила, глянул вниз и встретился, наконец, с глазами Иисуса, глядевшего вверх со стены. Теперь голова оказалась на первом плане: только отсюда, с высоты, можно было познать силу этого взгляда, только здесь открывалась тайна ракурса. Теперь взгляд Бога был направлен прямо на него, к нему были обращены эти чуть сведенные брови, тень улыбки, нежный подбородок, впалые щеки, лучики морщинок в уголках век. Страдание и радость выражал этот живой лик, направивший всю силу взора на мальчика, и тот ускорил шаги – на самый верх, в башню, в грохот, в вой, втиснулся внутрь, сел на подоконник разверстого в небо окна. Он знал заранее: по периметру площадки вокруг башни – невысокое металлическое ограждение, выкрашенное в черный цвет, вот оно, совсем рядом. Ограда не примыкает к краю крыши, есть отступ. Мальчик перекидывает ноги через ограду: одна ступня на краю крыши, руки за спиной вцепились в металлическую перекладину. Далеко внизу, вопреки привычной пустоте города, воскресная группа людей – туристы и экскурсовод в прямоугольнике жаркой тени под стенами Дома писателей; в распахнутом наружу окне второго этажа, внутри терракота черепичного ската курящий трубку отец прищурился, наверное, от солнца; ниже – цветы на продолговатых клумбах (отец называл их имена, сын запомнил: свечи пушистых голубых колокольцев – дельфиниумы); из высокой деревянной двери (мальчику кажется, что он слышит, как она скрипнула) выходят добрая Грета и тот, с косицей, что говорит мягким басом и знает, наверное, больше отца. За ними, но сразу из двери свернув в противоположную сторону, скачет молодой латыш. Грета не отрывает глаз от своего собеседника, что-то щебечет, вытягивая трубочкой губы, с ее пути грузно поднимается чайка и уходит вверх – в колокольный рокот.

Мальчик отпускает руки и летит. Вниз.

ЛХАСА

Мы вошли в блеклое рассветное небо и поползли в нем, в его жидком холоде, не чувствуя собственного тепла, не ощущая своих тел из-за головокружения и слабости, раздробивших плоть на рыхлые сочленения, на вялые пузырьки в чужом объеме. Позади и сбоку серой тяжестью дыбились горы. Джип укатил куда-то вниз, хотя, ничего себе низ – больше трех с половиной тысяч километров над равнин-

ной жизнью, высота, заселенная ярко разрисованными, изрезанными кружевом каменного рисунка буддийскими монастырями – Лхаса, обитель богов в долине реки Джичу, притока великой и вечной Брахмапутры, рожденной в северном высокогорье под именем Мацанг (другие зовут ее Цангпо и Дохонг), что сливается с Гангой, уйдя с гор и стремясь отравленными мышьяком водами в полумертвый Бенгальский залив. Пыльная грязно-белая Лхаса, присыпанная чахлыми клумбами бархатцев, наверное, в честь желтошапочников из секты Гэлуг-ба.

Теперь мы поднялись в автомобиле еще метров на пятьсот, а может, и больше, и будем пешком тащиться вверх, пока окончательно не рассветет.

– Ага, от забора до обеда, практическое соединение пространства и времени, – бухтит Роберт.

У меня за спиной – рюкзак, у него тоже, да еще и камера. Зачем нам эти рюкзаки? Какого черта?! Еда какая-то, подстилки, кружки, когда одна мысль о пище подтягивает желудок к горлу. Следующий раз – только налегке.

За двое суток в Лхасе мы никак не могли отремонтировать наши, как оказалось, не пригодные для высокогорья организмы, поначалу выдавшие свою несостоятельность такой яркой эйфорией, таким сладким неадекватом, что не сравнится ни с каким гашишным дурманом. Мы хохотали и хохотали, вернее, ухохатывалась я, а Роб посмеивался надо мной, над моей беспечностью, которая не имела краев, надувалась, пучилась, распирала меня изнутри, готовая вот-вот лопнуть, но не лопалась, а все росла и истончалась как воздушный шар, не рассчитанный на такое количество газа. Взрыв головной боли, растекшейся тошнотой и апатией, был неизбежен. Когда пришла эта фаза, жизнь показалась жестоким на расплату судом. Сон – лучший доктор, да, разумеется, но только не здесь, где его просто невозможно поймать ни в какие сети. Вялость такая, что кажется, можешь уснуть на ходу, но обман крутит тебя на непривычно жестких простынях, раздирает глаза, путает разум в клубок мыслей и видений, нити которого не имеют ни начала, ни конца. Какая «философия просветления», какие «глубины сознания», когда твое тело в желании исторгнуть из себя середину концентрируется только на том, чтобы утихомирить эти позывы?! Тяжело. И обидно. «Душа и сердце» Тибета, многовековая обитель далай лам, место всасывания бесконечной реки паломников, монастыри и дворец-колосс, абракадабрские звучания названий – Потала, Сера, Ганден, Трипунг, – всё мимо, всё не для меня. Худо. Так худо, как и невозможно было предположить.

– Когда хоть немного оклемаемся, тогда и двинемся снимать. Ну, что поделать...

– Снимаааааать... Я за этот сюжет уцепилась, на эту съемку вприпрыжку неслась, потому что надеялась столицей Тибета налюбоваться, всю мистичность буддийской философии собственными фибрами прочувствовать!

– Фибрами... в каком месте у человека фибры? – витиеватый позвоночник Роберта подвыпрямился, его сухопарый обладатель размял плечи и снова привычно ссутулился.

– А теперь вот полумертвая здесь время убиваю.

– В двадцать шесть красивой девушке умирать рановато.

– Двадцать семь. Уже исполнилось. Забыл, как праздновали, что ли?

– Не-е-е, не забыл. Хорошо на природе повеселились.

– На какой природе?! Ты мою днюху с юбилеем замглавного спутал!

– Да? Чой-то я того... А-а-а... магический возраст. Как же, как же... два и семь в сумме – девять. Помню твои разъяснения: девять лет, восемнадцать, двадцать семь, тридцать шесть, сорок пять и так далее. Девятка в любом умножении дает число, которое в сумме цифр всегда становятся ею же. Ну, ладно, не в том вопрос. Послезавтра идти снимать кровь из носа надо. Сборщики нас захватить не против, группой идут, обо всем уже договорено. – Он пощипал русую поросль на подбородке.

– Не-е-е, я еще не в форме буду. Как я поплетусь? Там еще выше на полкилометра как минимум. Я вообще это выдержу, как думаешь?

– Акклиматизация постепенно проходит. Сегодня – не очень, а завтра уже норма. К утру все устаканится, все проще будет, легче. А кордицепс тоже дело мистическое.

– Очень.

– Ну, а как?! Полуживотное-полурастение, которым можно рак лечить! Ты ничего таинственного в этом не видишь?

– Да не лечить, а останавливать деление не созревших клеток. И то до конца не проверено. Но ты молодец, тему проштудировал, степень зрительского интереса к вопросу понимаешь. Может, без меня часть сюжета снимешь?

– Тина! Где совесть? Кто у нас режиссер картины? Ну, Кар-Тина! Я – жалкий операторишко, и только.

– Не картина, а сюжет.

– Там, как получится, может, такого наворочаем! Вон, мне ребята-трекеры рассказали, что где-то в Непале одна деревня другую за эту ярцагумбу вырезала. Не, завтра давай подыматься, и вперед. Без тебя одна фигня у меня выйдет, ничего не сниму интересного. Не сумею.

– Завтра? Ты же сказал, как оклемаемся! И с группой на послезавтра договорено.

– Это я для подъема твоего духа. Считаю, что ты уже вполне себе ничего, ясно? И без тебя я отказываюсь.

– Ну, чего уметь-то? Глаз всё подскажет. Снимешь горы, потом собирателей, потом сам гриб. Потом, чего там, их становище, палатки какие-нибудь, как они еду готовят, едят, спать ложатся. Ничего страшного.

– Я с ними один ночевать должен?

– Вот еще я в их вонючих шатрах не спала. Мне и тут, в гостинице, всё мимо. Эти колонны раскрашенные, тряпки, подвесы, оборочки. От всего тошнит.

– Тошнит от 3650 метров над уровнем моря. Не капризничай. Матрас с электроподогревом, горячая вода круглосуточно...

– Ага, навесные замки на дверях, все обшарпанное... Ладно, все. Возьмешь завтра минипалатку, устроишься там. Ну, Роберт, ты человек или где?

– Я тут. В палатке хорошо вдвоем. Тепло и не одиноко. Точка. Вот – снотворное, глотай, – похожие на барабанные палочки пальцы скинули мне в ладонь таблетку. – Спать еще семь часов можно. Засветло поднимемся, позавтракаем...

– Засветло... Самый сон для нездорового человека. Дай еще цитрамона и кусочек лимончика. А то сейчас наизнанку вывернет.

– Это просто неверный настрой. Ты должна сконцентрироваться на задаче. Завтра – отснять талантливо. Сейчас – уснуть. Я даже приставать к тебе не буду по такому случаю.

– Оооо! Приставать! Какие роскошные мысли! У меня, наверное, этот интерес теперь год не откроется. Уснуть и то сил нет. Так, вон, на свою кровать! И вообще, совместная работа – не повод для секса.

– У нас не просто секс, у нас отношения, – Роб нежно осклабился.

– Это кто тебе сказал? Лама какой-нибудь, а ты поверил?

– Ты цинична. Ламы о сексе не разговаривают.

– Откуда ты знаешь?

– Это – запретная для них тема. Ламы-желтошапочники дают обет безбрачия и неупотребления животной пищи, чтобы ты знала. Надо было хоть немного погуглить по теме, подготовиться.

– Так, начальство не уважаете, коллега, – строжилась я. – Возьмите себя в руки, выберите правильный тон и успокойтесь. Я, может, больше тебя про все это знаю, но не считаю нужным демонстрировать свою осведомленность. Вот, например, да будет тебе известно, у тибетцев младший сын идет в монахи, а старший женится, но с его женой живут еще и средние сыновья, свою, отдельную, каждый не заводят, чтобы хозяйство не делить. Знал? Не-е-ет! Многомужество у них. Ясно?

– Я подумаю. Только чур я – старший сын, а тот, кого ты себе вторым заведешь, будет... э-э-э... средним, и прав на тебя, соответственно, получит меньше.

– Да, чувство юмора у тебя блескучее, как пластиковые стразы. Всё, я сплю.

Кое-как найдя положение, в котором меньше тошнило, я вползла в дремоту через травяную, серебристую от теплой росы поросль. Издалека летел, прерывался, вновь возникал звук: сквозь сухой сероватый свет лили свою монотонность колокольчики. Я приникла глазами к пушистой почве и сквозь заросли корней, сквозь путаное кружево соединений увидела, как перебирают парами ножек, извиваются вверх-вниз, бугрятся и опадают, – ползут пухлые гусеницы, прокладывая себе ходы в жирной земной черноте, раздвигая крупинки чернозема алыми лобиками, увенчанными рожками, пожирая сокрытую в нем изобильную пищу. Они ползли в разных направлениях, но в едином устремлении взрастить свою плоть. Они становились крупнее, их шкурка подсыхала и лопалась, и сползала лоскутами, вскрывая обновленную бархатистость, и они продолжали беспрерывно и неустанно двигаться в поисках драгоценной отравы, мизера, живой субстанции, которая взрастет в свою очередь и затвердеет, пронзая податливую мягкость их беззащитного организма, который должен обратиться субстратом, кормящей массой, плодотворной пищей для нового жизнеобразования. Я отстранилась от виденья, поднялась с постели и вышла. В ледяном свете выпуклой белой луны сияли черные Гималаи. Мороз иссушил воздух, которым почти невозможно было дышать. Питанием для легких стал холод, он пронзал, доставлял боль, но надо было привыкнуть. Я схватилась за прямоугольную подпорку террасы, под рукой скользнула краска, в десятки, а может, и в сотни слоев лежащая на дереве бугристая память старины. Мои глаза обрели иную чем прежде зоркость, и им открылись далекие пещеры королевства Гугэ, сокрывшие в себе монахов, что ушли на годы в темный ретрит, и тайные комнаты монастырей запретной страны Ло, в одной из которых так же во мраке покоится книга, собрание тысячелетних листов синей бумаги, испещренной санскритскими сутрами, белыми тибетскими письменами, священными текстами, похожими на беспрерывные ряды цифр. Я наклонилась, перегнулась через перила, чтобы получше рассмотреть текст, готовый вот-вот открыться, поведать мне свой шифр. Один из листов атласисто

качнулся рядом с моим лицом, отразил его зеркально, лицо улыбнулось мне, поманило и повлекло за собой. Падение в глубину было тяжким: тянулись, плыли мимо меня этажи Дворца Потала, окна в буром и светлом, десятки метров глухих стен, и ниже моего полета – скрещение белых каменных лестниц; дебри монастырских снов густели и путались объемами, заплывали один в другой, вытекая новой формой, то вытягиваясь, то округляясь, и отражались в листах, и уже без остановки множились в отражениях отражений. Боязнь заблудиться в их путанице заставила меня на мгновенье закрыть глаза. Мне пришлось напрячься и изо всех сил, с хрипом вдохнуть горного холода. Сомкнутые веки не скрыли, как синий лист, увлекая за собой, ушел в проем, и я двинулась по скачущим уровням галерей и извивам переходов к Западному залу, иллюстрированному, словно персидская книга, с раскиданными по стенам пальцами музыкантов на струнах и лицами в облаках, масками, дышащими огнем и дымом, и растениями, цветами, похожими на плоды, рыбами в выпуклой чешуе и тканями на раздутых животах, и тиграми, растянутыми прыжком, и оружием, украшенным резьбой ханьских и маньчжурских мастеров, опахалами из парчи, налитыми кровью глазами воинов и золотыми балдахинами карет. Ведя пальцы по часовой стрелке, я тронула каждую из пятидесяти четырехгранных колонн, заостренных к потолку, туда, ввысь, где гуляли блики и тени красок. Осталось коснуться еще полутора десятка исполинов высотой в три этажа, но в обширности дворца-монастыря, в одном из тысячи его помещений проявилась одиннадцатиголовая и тысячерукая статуя Авалокитешвары, бодхисаттвы сострадания всех будд, чьей райской обителью является Потала. Ослепленная золотым сиянием добра Великой Колесницы, я простерлась перед неизмеримым величием и потеряла способность видеть, слышать и осязать.

Мы продвигались за вереницей людей и несколькими низкорослыми лошадками. Недомогание прогрессировало, несмотря на таблетки, припасенные из дома, и насильно впихнутый в себя завтрак в гостиничной кафешке. Но вот поднялось солнце и прибавило нам бодрости и уверенности в том, что сил должно хватить на полноценный рабочий день. Поначалу оно контрастно вычернило гряду, из-за которой веером выбросило резкие лучи, а потом озарило ее всей своей полнотой и насыщенностью. Не торопясь, но и не затягивая движение, мы осуществляли серпантинный подъем по тропам, то справа, то слева от которых в нижних долинах разворачивались графические схемы раскинутой по каменистым холмам широкой многовекторной паутины.

Не очень надеясь получить верный ответ, я все же спросила у Роберта:

– Что это? Вон там, внизу, видишь? Как будто паук раскинул сети.

– Село! Это веревки, к которым прикреплены молельные, нет, молитвенные будет вернее, флаги. Видишь, из одной точки расходятся линии, из другой наискось тоже во все стороны, друг над другом, длинные... Это отсюда они кажутся серыми, на самом деле они белые, голубые, красные, желтые, зеленые: земля, вода, огонь, воздух, эфир. Ты же в городе видела вокруг жилищ, да и внутри, в нашей гостинице и то есть. Это гармонизует пространство. Там куча правил, какие-то законы последовательности цветов, связанные с верным распределением энергии. Потом почитаем. А здесь – самое оно: флаги эффективнее всего размещать там, где гуляет ветер. Тут они мощнее работают. Когда люди совершают ко́ру... вот ты

хотя бы знаешь, что такое кора? – голова на вытянутой параллельно земле шее все время повернута ко мне, но движение продолжается.

– Обход по часовой стрелке во время совершения паломничества, – вредным голосом откликнулась я.

– Ве-е-ерно, молоде-е-ец. Вот, когда люди, способные на высокое, совершают кору в горах, они непременно развешивают на перевалах молитвенные флаги. А как ты в своем высоком поступке? Нормально? Знаешь, что мы уже выше четырех тысяч забрались?

– Чувствую, – протянула я.

Белый хатаг – длинный кусок шёлка, извиваясь и то приподнимаясь выше головы, то касаясь моего виска, перекрыл на мгновенье нагромождение все плодящихся, множащихся гор, скользнул, сполз к рукам, но вывернулся в ритуальной изысканности: шарф с вытканными поверх поля благоприятными символами, подношение, олицетворяющее отсутствие дурных помыслов и намерений, чьи-то знаки взаимной любви и уважения. Кто-то не уследил, как ветер снес мантры на шелке прочь, и теперь они доставались мне, нечаянно становясь моим оберегом. Я ухватила хатаг за хвост и выложила вкруг шеи двумя легкими кольцами. Моё.

Солнце постепенно размывало раннюю муть, и слоями ложились в память спины-холмы, изуродованные разновысокими горбами. Тяжелели небо, воздух, и ноги от стоп до бедер становились неподъемными и темными. Двигались. Куда-то не прямо, но круто.

Почти коричневая уттара санга на монахе без лица. Только улыбка, замотанная в четырнадцать квадратных метров плотной ткани верхней теплой накидки. Да, всплыл в памяти этот термин – уттара санга, от плеч по груди – к ногам, без швов, особым наворотом, слоями, ниспадает и греет монаха тибетской Школы Гэлуг, школы традиции добродетели, школы «желтых шапок». Головной инопланетянский, римский, петушиный убор сияет тоном бархатцев сорта Зонненшайн, гребень пушится, покачивается, закидываясь вкрученным запятой полумесяцем, оттеняя медную кожу и шоколадную влажность в иссиня-белых склерах. Четвертая школа тибетского буддизма из светозарного средневековья шагнула в мой день ногой Гьялвы Цонкопая, воплощенного бодхисаттвы Манджури, олицетворяющего мудрость и всеведение, и глубина многотомного труда, что сконцентрировал в себе многие учения, руководство к постижению «Ступеней пути», познание доброты и всеприятия легли передо мной чарующим чистотой и ясностью полотном. Оно двинулось, разрастаясь, окутало меня, поглотило.

Кто-то произнес тихо, но внятно, будто не вне меня, а во мне:

– Школе Гэлугпа принадлежат все существующие дацаны Бурятии, Калмыкии и Тывы.

– Да, знаю, – ответила я, – не только в Тибете, но и у нас...

Монах завился спиралью, обернулся вихрем бордовой пыли; седыми нитями просыпался в пыль дождь. Резко похолодало. Я озиралась в поисках улыбки и голоса. Слегка отодвинув дождевую сеть, серебром оседающую на воздух, молодой лама в наряде для роли небесной посланницы из ритуального танца Чам, дакини-небоходицы, утрированно подняв согнутую в колене ногу с задранным кверху носком мягкого сапога, шагнул в круг, очерченный мукóй, что тут же всколыхнулась

вздохом под тихой подошвой. Тяжек наряд небесной танцовщицы, шитый из полос разноцветного шелка с золотыми и серебряными тиснениями, подбитый тканью цвета пламени; живут, дышат раструбы рукавов, слои нижних подолов. По желтому и оранжевому, бордовому и синему полю летят вытканные цветы; вычурной формы оплечье и твердый фартук обрамляют канты и кисти. Головной убор, имитирующий тиару и прическу одновременно, дыбится разветвлениями над тульей и полями. Дрогнули острия, заколыхались кисти, когда дакиня из мерного шага и статики позирования рванулась в пляску, заметалась, вкрутилась в вихрь и исчезла. Женский Будда-аспект еще проявился в звуках ухэр-буреэ – гудении трехметровых труб, в гонимом внутри них воздухе. Сквозь изукрашенные ремесленниками жерла, такие долгие и тяжелые, что поддерживают их несколько помощников-силачей, через напряжение в легких, которого требует этот звук, пронеслась тень и растворилась в пении ганлин, изготовленных из берцовой кости человека, раковин и цимбал, в всплесках медных тарелок, в буханьи больших барабанов.

Монах в роли дакини прекратил существование, и на фоне дождевой россыпи явилась его иная ипостась: обнаженный юноша с кожей цвета свежего чая оседлал черного с белой головой и белым крупом яка. Широко раздвинутые серпы рогов рассекали крупчатую влагу, шелковые меха на боках и животе колыхались в ритуальной пляске. Сила яка и сила человека на его спине слились и умножились, глаза одного и глаза другого сияли новообретенной мощью, качалось небо, смещались в нем горы – тибетский кентавр разрывал пространство, мчался тяжко и легко, как способно двигаться свободное существо, чующее свою красоту, свое право на волю.

Ниже ячьего танца, и по сторонам, и на холмах, что выше, ползли на животах накрытые пластиковыми прозрачными дождевиками люди. Всматриваясь в сплетение трав, нежно раздвигая их стебли, они напрягались, вглядывались в каждый коричневый росток, подозревая в нем проклюнувшийся кордицепс, драгоценный полугриб-полугусеницу. Ярцагумба – зимой-червь-летом-трава, полуживотное-полурастение, спора, осевшая на личинку бабочки тонкопряда, чтобы развить свою жизнь, паразитируя на своем носителе. Пораженная любовью инородца личинка теряет себя, подчиняется новому явлению в ней, зарывается в землю, уходит от здоровых сестер, обращаясь в рабыню иного, чуждого, покорившего. Зимой спора преобразуется в бактерию и постепенно завладевает внутренними органами личинки. Оболочка же, роговое внешнее покрытие, ее красота – неизменна, она остается неповрежденной, нетронутой. Две зимы взращивает под землей личинка кордицепса новое свое содержание и свою смерть. Она выдерживает временное голодание, недостаток кислорода, видоизменяясь в процессе гибели. Она питается корневищами высокогорных растений, горцем, астрагалом, офиопогоном, насыщая тело новорождающегося кордицепса специфическими биологическими компонентами растений высокогорья. Кордицепс – жизнь в жизни, паразит внутри своего носителя, два в одном, сложноподчиненное сочетание. Пораженная любовью личинка, иссыхаясь, погибая, выпускает на волю росток, пронзивший ее; будучи оболочкой, внешне остается собой, обретает свойства мощного афродизиака.

Я лежу на боку в сырой холодной траве, вкруг меня – темноликие люди с маленькими то ли тяпками, то ли топориками в руках гортанно журчат, обсуждая, видимо, что со мной делать. Кого-то зовут, крича в сторону соседних вершин. Роб

протискивается меж сбившихся в кучку людей ко мне, рядом с ним хитроглазый тучный мужчина из местных. Роб наклоняется надо мной, слушает пульс, обращается по-английски к хитроглазому. Через время меня поднимают, чувствую муторную боль в лодыжке – всё, привычный вывих, наступать не могу, голова кружится, донимает тошнота, меня усаживают на низкорослую лошадку, приматывают веревкой к седоку; почти не вижу, но ощущаю, как движемся вниз, медленно, в постоянном монотонном качании-подскакивании, к которому никак не могу примериться, желая прекратить синхронное шагу лошади боломутное движение в желудке. Этому пути нет и нет конца. Бряцает колокольчик на шее животного. На шее? Почему на шее? Мстятся пронзенные звенящими серьгами острые стоячие уши, вот уже у моих висков качается, бьется звук.

Шатер из дикого шелка плотен, открытый огонь посреди ковров, посуда, украшения – керамика, фарфор, изделия из нефрита, шерстяные ткани, шкуры – тепло, очень тепло и сухо. Синюю пиалу, наполненную дымом, протягивает мне мускулистая рука. Медная кожа на глаз – дикий шелк. Я принимаю густое, замешанное на ячменной муке питье с запахом ячьего жира и перевожу взгляд на дающего: он перечеркивает мою шаровидную щиколотку жесткой повязкой и поднимает глаза навстречу моим. Монах в бордовом уттара санге, дакиня-небоходица, юноша на яке и мой транспортер – откидывает за нагие плечи пряди графитовых волос, сплетенных у висков в змеевидные косицы, наблюдает, как я делаю несколько глотков, приближает ко мне скуластое, точное в скульптурной лепке лицо, ноздри по-звериному втягивают мой запах, глаза, огромные, фиолетовые, как у яка, поглощают мой взгляд, – всей своей гусеничной бархатностью, всей личинковой мягкостью, потеряв костяной остов, лишась позвоночника и суставов, я вбираю в себя силу его взора. Вкруг шатра бегут, танцуют яки, их гладкие по весне после линьки спины лоснятся, храня длинную шерсть на горбатых, вторящих линиям вершин холках, шелковые «юбки» на животах стелятся по траве, волосы хвостов движутся в такт рапидному галопу. Я будто одновременно наблюдаю эту пляску и участвую в ней, и в пробелы между мгновеньями успеваю приникать грудью к неожиданной гладкости мужской груди и откидываться прочь; и рвутся облака над шатром, раскалывают небо зарницы, качаются, все громче, все надсаднее звеня, колокольцы в графитовых косах, с гиканьем несутся разряженные шелковые демоны сквозь ночь, чудовищны их маски; грохоту небес, напрягаясь, помогают колоссы труб, дуть в которые приходится дивным созданиям, порожденным моим воспалением, набухшие небеса крепнут, полнятся темнотой и, наконец, взрываются пузырями и дребезгами, и потоки дождя и света заливают и топят меня в тепле, в покое, в сне.

– Пятнадцать часов спала. Просыпайся, давай-давай, надо бульону попить. Тебя и несли, и ворочали, и перекладывали, уже и градусник ставили, а ты спишь, как казак после гулянки. Температура нормальная. Всё o’k.

– А чаю тибетского можно?

– Ты чего? С ячьим жиром? С мукой?!

– Да.

– А ты его пробовала? Это же нормальный человек только с великой голодухи...

– Мне понравилось.

– Когда? Где ты это варварское варево есть-то могла? Во сне, что ли?

– А можно?

– Я даже не знаю, где сие в Лхасе раздобыть. На сборе кордицепса у деревенских – пожалуйста, а здесь... Давай-ка европейского бульончику, а?

Я откинула одеяло с ноги, посмотреть на щиколотку. Ни повязки, ни опухоли. Пошевелила ступней, боли не было.

– Роб, а чего это я спала-то так долго?

– А вот, как в обморок упала там в поле, так потом и уснула. Мы тебя несли сначала, потом везли, потом опять несли, – Роберт тянул звук «и» в конце каждого слова, как делают, когда рассказывают сказку детям.

– Ясно. Я ногу не подворачивала?

– Да вроде нет. Шли, разговаривали. Вдруг ты – бух, и скопытилась. Сейчас как себя чувствуешь?

– Отлично. Ни тошноты, ни головокружения, как на нормальных высотах. Прямо класс.

Я принимала ванну, расчесывала и завязывала в гладкий «конский хвост» волосы, глядясь в запаренное зеркало, потом ела много и жадно, разговаривала с Робертом, разглядывала цветные тряпочки с магическими знаками, развешанные повсюду, потом мы решили пойти любоваться тибетцами, что истово осуществляют простирание перед святынями ближнего монастыря, и у Лхасской соборной мечети – местными мусульманами, потомками торговцев из Кашмира и Ладакха; договорились рано утром опять подыматься в горы на съемку, и потом снова шли в мутное небо, и накрапывал и густел дождь среди гор, и ползли в разные стороны спрятанные под прозрачными голубыми и сиреневыми дождевиками люди по жесткой траве, крапленой мелкоцветьем, в поисках драгоценного полурастения-полуживотного, продажа которого хитроглазому толстяку, что пасет их, может обеспечить пропитание на сезон до следующего периода сбора. И потом я опять потеряла сознание.

Через день Роб собрался подыматься на съемку без меня. Я умоляла его взять меня с собой, он не соглашался. Я требовала, я не хотела верить, что упущу возможность в третий раз быть внесенной на медных руках под звон колокольцев в графитовых косах в сухой и горький воздух шатра, что не прильну грудью к маслянистой полированной коже, что не смогу ощутить внутри себя колыхания гор и туч.

Роб отказался идти совсем. Он не понимал, что происходит. Он был напуган.

– Посмотри на себя! У тебя глаза ошалевшей кошки. Ведьма какая-то. Что с тобой происходит? Зачем тебе снова туда тащиться, если ты все время теряешь сознание? Что тебя тянет? В конце концов, даже если ничего не снимем, никто нам голов не оторвет. Ситуация неординарная, надо было отправлять нас бóльшим составом. Твое психическое состояние обусловлено перепадом высот... и... я не знаю, какими-то еще привходящими обстоятельствами. Здесь что-то нечисто. Это Тибет. Для одних – просветление, для других – вот такой полный коллапс. Надо собираться домой.

Глаза Роба на похудевшем усталом лице злились, кололись, вся мужская закрытость к непонятному, необъяснимому бунтовала и требовала к себе уважения.

После долгих препирательств я взяла камеру и села одна в ожидавший нас джип. Главное – не выпускать ее из рук, вцепиться мертвой хваткой, чтобы, когда наступит обморок, удержать.

Я сняла, как расползаются существа в полупрозрачных капсулах по раннему туману, как шевелятся терракотовые некрупные руки, раздвигая травинки, запуская ногти в почву, как радостью закипают пузырчатые слюнки в углах ртов, когда среди темной и блеклой зелени открывается бурый клювик ярцагумбы, как маленькой мотыжкой крайне осторожно вспарывается рыхлость земли и извлекается из сырого комка крошечная целебная мумия, воспетая не желавшими стариться древними китайскими царями.

Я сняла нагромождения серых и желтоватых горбов, углы и полуэллипсы, каменистые тропы в бледной пыли, подъем солнца в прорывах небесного свинца, быстроглазые лица с умбровыми пятнами загара на скулах; сняла трапезу, когда миска с мукой, запаренной кипятком, благоухая ячьим жиром, досталась и мне; сняла хитроглазого и его добычу – выкупленную за гроши пригоршню кордицепса, которую он продаст втридорога знающим людям; сняла низкорослых изящных лошадок и величественных, хоть еще и не долинявших яков, пасущихся ниже на майских лугах. И потом я привязала камеру к плечу церемониальным шарфом и продлила перевязь вокруг талии, легла в ложбинку под защитой каменного уступа, увидела, как изгрызанные небом вершины рвут в отместку животы облакам, разбрасывают клочки и тонут в них, измельченных, – и закрыла глаза. Я ждала, когда яки всплеснутся в вихре шелкового движения и ячьи глаза человека заставят распахнуться мои, когда взрыв грома сотрясет демонов и те в дикой силе раскидают молнии в небесах, когда заскользит по мне шелк одеяний танцоров ритуала Цам в кругу, очерченном мукой или ткаными стенами шатра. И я сниму все это, запечатлею и покажу всем.

Утром следующего дня меня нашли спускавшиеся после коры с перевала американцы, которых вели по направлению к Лхасе два проводника. Меня переодели в сухое и привязали к лошадке, так как я была очень слаба, и высокая температура мутила мое сознание. Камеру подхватили паломники и несли рядом, в поле моего зрения, чтобы я не волновалась. Когда мы следовали мимо собирателей ярцагумбы, я упросила спéшить меня и дать в руки камеру, чтобы заснять с плеча необычное: группа людей собралась на трапезу, и один из них – молодой длинноволосый и стройный, ракурс, к сожалению, был таков, что мне не удавалось поймать лицо, – запел. Это была гортанная импровизация, голос гулял с нижних нот к верхним и обратно, вился и закручивался, становясь все более упругим, горло клекотало, полнилось раскатами пузырьков, воздух охотно относил звуки бежевым сыпучим холмам, и дальше – к холодным высотам, что радушно принимали песню и возвращали, умащенную ветром, незнакомые интонации множились и витийствовали, и наконец вырвались в небо веселым и одновременно смущенным смехом. Я снимала. В графитовых косицах звенели колокольчики.